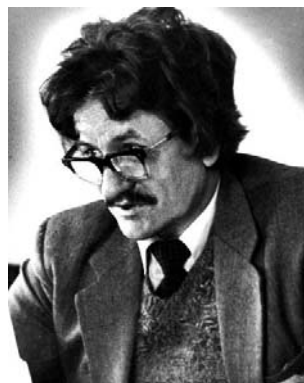

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СИБИРИ

(Раздел ведет Тамара Булевич)

Сергей Прохоров
(Нижний Ингаш, Красноярский край)

ИЗ ФЛОТСКОЙ ТЕТРАДИ



Сергей Прохоров — член Международной Федерации русскоязычных писателей, автор 8 книг стихов и прозы, основатель и редактор сибирского литературно-художественного и публицистического журнала «Истоки»

В СЕДОЙ ДАЛИ МАТЕРИКА

Ах! Чудесные рассказы, бесхитростные, но с очень красивым ритмом, что объясняется обилием глаголов! Рассказы представлены в форме воспоминания-репортажа, где преобладают рецептивные и чувственные идеи! Богатая лексика — особенно прилагательные. По своей структуре оба рассказа полицентричны — т.е. много повествовательных центров, связанных между собой самим Рассказчиком! Прекрасно! Спасибо!

Лорина Тодорова — кандидат филологических наук, доцент филологического факультета Великотырновского Университет Свв. Кирилла и Мефодия (Болгария).

Играй, мой баян

Часто в часы отдыха я брал в руки баян и выходил на верхнюю палубу потешить мелодией душу. Однажды в Охотском море, возвращаясь с Шантарских островов, куда наш корабль доставлял по фрахту очередной груз, я увидел, как за нами увязалась целая стая дельфинов. Как только я прекращал играть, дельфины куда-то исчезали. Но стоило мне опять растянуть меха, они тут же выныривали из воды, крутили в воздухе своими головками, как бы кивая в такт музыке. Было весьма занятно. На палубе уже собрались зрители — свободные от вахты матросы, и, рассевшись — кто на кнехтах, кто просто на полу палубы возле борта, тоже с интересом наблюдали за занятными морскими животными, комментируя их поведение каждый по-своему.

— Вроде обычная рыба, а, поди ты, понимает музыку.

— Сам ты рыба. Это ж дельфины! У них, говорят, мозги больше человеческих.

— А ты откуда знаешь? Разговаривал, что ли, с ними?

А вода в Охотском море такая голубая и чистая-чистая, что видны белые брюшки дельфинов, радостные взмахи их плавников. А то вдруг из воды покажется головка нерпы, покрутит туда-сюда, сверкая любопытными глазенками, и снова скроется в пучине набегающих друг на друга волн. Кругом, куда ни глянь, только море да небо, слившись воедино, и ничто, кажется, не разделяет их, нигде не видно полоски земли. И в этом безбрежном пространстве только мы, наш корабль да случайные попутчики-дельфины. От такой бесконечной, необъятной шири, кто впервые в море, дух захватывает. А мы уже привыкли и знаем, что через несколько суток вдали замаячит суша — остров Шикотан (Шиашкатан).

На баяне я научился играть еще в школе самоучкой. «Музыкалки» в деревне не было. Вымолил у матери денег, сходил с ней за баяном в станционный поселок. Приметил я его, когда ходил с ребятами в станционный буфет пить морс — самый лучший и единственный напиток в то время. Газировку в деревне тогда еще не продавали.

Баян был тульский, звонкоголосый. Достал самоучитель и вскоре стал первым баянистом в деревне, играл вечерами в сельском клубе на танцах. Зимой в клубе было холодно. Зажигали керосиновые лампы и танцевали без конца, чтобы не замерзнуть. Играть приходилось в перчатках. Но потом я все равно сильно обморозил руки, когда возвращался с танцев. Еле-еле потом оттерли. Через месяц обмороженная шкура, как перчатки, слезла с рук. Пришлось потом долго их закалять.

На нашем корабле баяна не было. Иногда приходил в дивизионный клуб поиграть. Но однажды перед новым годом в дивизионе был объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление корабля и новогодний концерт. Я немного рисовал еще в школе, да и когда работал на комбайновом заводе. Командир на целых две недели освободил меня от всех занятий и работ на корабле. И я старался. Наш корабль получил второе место и приз — баян, чему я был несказанно рад. И вот теперь он согревал мне душу в часы тоски по дому.

Но было у меня с баяном одно не очень-то приятное воспоминание. Как-то мы готовили концерт вместе с береговой воинской связью, а точнее со связистками. Я ходил аккомпанировать хоровой женской армейской капелле. И однажды ребята с корабля попросили меня пронести с берега пару бутылочек водки. У одного нашего сослуживца намечался день рождения.

— Что вы, братцы! Да меня тут же упекут на «губу», — не соглашался я. — И не просите!

Но меня все-таки убедили, что дело это плевое. Вынимаются гвоздики, соединяющие мех с клавиатурой, и во внутрь как раз впритирку входит две пол-литровые бутылки. Никто не догадается.

И я так думал, укладывая купленные бутылки с водкой и застегивая баян на все застежки, чтобы, не дай Бог, не звякнуло внутри.

Но у КП дивизиона я никак не ожидал встретить капитана третьего ранга Сысоева. Неприятно засосало под ложечкой. Я знал, что Сысоев играет на баяне. Только бы не...

— О, наш баянист! Что уже отрепетировал? А ну-ка давай посмотрим, как звучит сей инструмент. — И он сам раскрыл футляр баяна, взялся, было, за ремни, чтобы вынуть баян...

— Товарищ капитан третьего ранга! Вас к телефону.

— Ладно, матрос, в следующий раз поиграем, — захлопнул футляр капитан.

А у меня еще долго лихорадочно колотилось в груди сердце, и я зарекся после этого выполнять столь рискованные просьбы своих товарищей по службе.

— Слушай, друг, сыграй-ка веселенькое что-нибудь, ну хотя бы цыганочку, —

попросил кто-то.— Интересно посмотреть, как на эту музыку отреагируют дельфины.

Но наши недолгие попутчики уже махали нам на прощание своими рыбьими хвостами, возвращаясь, видимо, восвояси. А цыганочку я все же сыграл напоследок, и лица ребят повеселели. И бескрайние дали не казались такими уж дальними. Где-то нас ждали новые причалы, новые впечатления, новые открытия нашей дальневосточной земли.

В бухте Крильон

Вот уже сорок лет минуло с той поры, как я, демобилизовавшись, покинул обетованную и романтикой, и суровыми флотскими буднями окраинную часть нашего материка с емким названием Дальний Восток. Много стёрлось в памяти. Сейчас, пожалуй, и не узнал бы сразу ни бухты Золотой Рог, ни самой дальневосточной столицы, где, как писал один дальневосточный поэт: «Здесь город — продолженье океана, а океан, как город заселен», ни тех бухт и портов, где за четыре года не раз пришвартовывался или стоял на рейде наш корабль. А было их вдоль всего дальневосточного побережья, вдоль острова Сахалин, Шантарских и Курильских островов и полуострова Камчатка немало. Но запало и в память, и в душу больше всего одно название — «Бухта Крильон». Ее-то и на карте нет, а помнится до сих пор.

Прошедший рейс был очень трудным и напряженным. Не отошли мы из порта Советская гавань и десяти миль, как вышел из строя главный двигатель корабля. В машинном отделении это ЧП номер один. Весь вечер и всю ночь команда боевой части № 5 занималась разборкой полетевшего двигателя и установкой нового — резервного. Как назло поднялся штормовой ветер, что в Татарском проливе далеко не редкость, а характер этой водяной акватории. И хотя в нижней части корабля не так ощущается качка, как на верхней палубе, но удерживаться в равновесии на скользких, промасленных паелях было нелегко. И шишек себе набил, и измазался в мазуте я, как черт, пока устанавливали двигатель.

В бухту назначения — Крильон пришли, когда уже солнце стояло в зените. Сменившись с вахты, я, вконец обессиленный, упал на койку, не застывая ее, и проспал мертвецким сном почти до самого вечера, забыв, что сегодня у меня день рождения. Вспомнил, когда корабельный кок Карим Галиев принес мне в кубрик праздничный ужин: горячие пирожки с повидлом, банку абрикосового компота и целую пачку печенья. Шесть часов хорошего сна вернули мне бодрость, и я с огромным аппетитом «смел» свой праздничный ужин. А потом сошел на берег побродить по песчаным отмелям, искупаться. Место здесь безлюдное. Недаром бухту в шутку называли диким морским портом.

После вчерашнего шторма вода в заливе казалось тихой, ласкала глаз спокойным перекатом волн вечернего отлива, в которых миллионами звезд вспыхивали, рассыпающиеся на волнах, лучи заходящего солнца. Вода была теплой: середина июля. Разделся и быстро вошел в воду. Сделал несколько взмахов кролем и опрокинулся на спину. Морская вода, в отличие от речной, держит тело на поверхности легко, как будто лежишь в надувной лодке. Надо мной покачивается бирюзовое чистое небо, где лишь изредка прочертит его крыльями прибрежная чайка. Вспоминаю о доме, о девушке, с которой познакомился за две недели до призыва на флот...

А вода подо мной приятно покачивается, (я ощущаю себя как в рыбке), ласкает нежной, едва уловимой прохладой, напевая мне свою водяную колыбельную песню.

Не знаю, сколько я пролежал в таком расслабленном, отрешенном от действительности состоянии. Только, когда очнулся и повернул к берегу, берега не увидел.

Екнуло в груди: куда и как далеко меня унесло? Лишь позже, выйдя из наступившего оцепенения и пристально приглядевшись, я едва различил далекую прибрежную полосу сквозь пелену стелющегося по воде испарения. Заработал отчаянно всем телом в направлении к заветному берегу, но вскоре с ужасом понял, что плыву не по течению, а против. Отлив отнес меня мили на две-три. Тут по твердой поверхности не менее часа ходьбы, а плыть да еще против течения. И хотя я глубины не боялся и чувствовал себя в воде уверенно, но на такие дальние дистанции мне плавать не приходилось. Каждый метр к берегу мне давался все трудней и трудней. Я чувствовал, что силы уходили из меня в воду, а волны отлива толкали меня в грудь, толкали назад, в морскую пучину. Обессилив, ложился на спину и, передохнув несколько секунд, снова отчаянно греб к берегу. Только бы хватило сил доплыть.

К месту или не к месту вспомнил, как впервые научился плавать.

На речке я проводил большую часть летних каникул, но купался только на мелководье, где бабы в банные дни полоскали белье, и вода была доброму мужику по колено. Но однажды, выламывая удилице в старице Тинки, я поскользнулся на мокрой глине крутого берега и сорвался в воду. Вода накрыла меня с головой. Я с испугу отчаянно заработал руками и ногами, всплыл и, уже не помню, как оказался на противоположном берегу. Так вот неожиданно и научился. А потом уже чувствовал себя в воде, как рыба.

Но сегодня вода была моим врагом, и я боролся с ней за свою жизнь, изрядно уже наглотавшись ее горькой, соленой влаги. Казалось, что солью пропитались не только губы, но и все тело. Ужасно хотелось пить. А берег все еще маячил вдалеке, и мне думалось, что я уже никогда не доплыву до него. И от этой мысли тело холодело, а руки и ноги, которых я уже почти не чувствовал начинали лихорадочно работать. Откуда-то изнутри просыпалась невидимая энергия и заставляла работать усталые, обессиленные мышцы. Но когда, наконец, я коснулся ногами прибрежной гальки, силы окончательно покинули меня. Я даже не смог встать и выйти на берег. Так и пролежал обессиленный в забытьи наполовину в воде и наполовину на суше больше часа, пока прохладный предночной ветерок не вернул вновь меня к жизни. Было уже совсем темно, когда я поднялся по трапу на борт корабля.

— Что, нагулялся, юбиляр? — спросил добродушно вахтенный.

— Нагулялся. И успел заново родиться.

— Как это? — не понял моей горькой шутки матрос.— Ну-ну! Отдыхай. Спокойной ночи!

Спал я в эту ночь действительно спокойно и крепко, как победитель. А утром в моем блокноте появились строки:

*Забьется зарево заката
Над бухтой раненым крылом,
Где, непомятый на карте,
Нас встретит дикий порт Крильон.*

*...Здесь, у безлюдного причала,
В седой дали материка
Еще не раз начну сначала
Я жить судьбою моряка.*

Уха из петуха

Из очередного отпуска домой я возвратился на корабль с двухнедельной просрочкой и медицинской справкой о «липовой» болезни, заверенной к тому же не военкоматом, а председателем сельского совета. Побоялся, что придерутся к этому, как и моя

болезнь, липовому документу. И когда командир корабля, сетуя на то, что корабль вдруг оказался без кока, спросил меня, как бы случайно, не умею ли я кашеварить, я, не задумываясь, лишь бы отвлечь его от серьезного изучения врученной ему мной справки, ляпнул.

— Конечно, могу!.. Это самое... с детства варю.

Командир обрадовался, что проблема неожиданно разрешилась, и засунул справку в стол, даже не взглянув на нее.

— Вот и хорошо, дружок, вот и славно. Иди, принимай камбузное хозяйство

Рабочим на камбузе мне приходилось, как и многим «салагам», бывать не раз. И мне нравилось наблюдать, как этим занимался профессиональный корабельный кок. Так что все операции по приготовлению первых и вторых блюд я примерно знал. Но, оказавшись на камбузе уже не в качестве рабочего матроса, а назначенным командиром коком, я немного растерялся. В меню на первое в этот день был борщ. Раскромсав на куски стегно говядины, уложил мясо в бак, залил водой и включил электропечь. Пока рабочий по камбузу матрос чистил картошку, я достал с полки поваренную книгу и углубился в ее изучение. В окошечко камбуза постучал баталер:

— Кок! Принимай свежую рыбу. Командир захотел ухи! — И просунул в окошечко три увесистых рыбьих тушки. Забыв, что в котле уже млеют куски говядины, я быстренько почистил, и разделал рыбу, и опустил куски в уже закипавшую воду. Потом отправил в котел нарезанную пластикой картошку и прочие приправы, необходимые для приготовления ухи. И уха получилась отменной. Ребята ели, нахваливали и просили добавки. Вот только сам командир корабля капитан-лейтенант Козин, не то чтобы усомнился в качестве ухи, но выразил нескрываемое удивление, протягивая мне через окно кают-компании увесистую кость бывшей рогатой скотины.

— Скажи, пожалуйста, дружок, что это за рыба?

Сам я к трапезе еще не приступал и потому в недоумении пожал плечами:

— Так, вроде, горбуша, товарищ капитан-лейтенант. Как Вы просили. Когда в котел кидал, была рыбой.

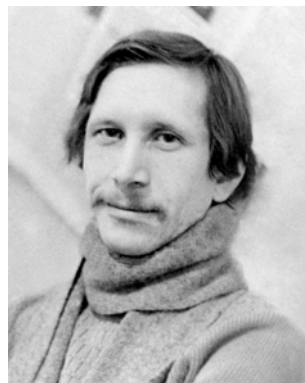
И тут до меня наконец-то дошло. Как же я мог забыть про борщ в меню, про брошенное в котел мясо говядины? Получилась уха из петуха. Аж в пот бросило. «Все,— думаю,— откашеварил!» Но командир и не думал снимать меня с кашеварства. И не разочаровался в этом. Я все-таки научился готовить и хорошо, и вкусно. Но иногда командир, когда бывал в хорошем настроении, напоминал про тот случай, как бы вскользь:

— А ушица все-таки была отменной!



Сергей Лыткин
(г. Красноярск)

ВОРОЖЕЯ



*Как в первое утро вселенной,
Знакомо до боли в висках,
Я чувствую попеременно,
То радость, то страх.*

*И вдруг за мгновение ли, вечность,—
Что больше?— Не зная о них,
Поверив в мою человечность
В душе зарождается стих.*

1

Я думаю до звезд,
Когда они погаснут —
Нелепо и бесстрастно,
Безумствуя всерьез.

И слыша тишину
Доверчивого утра,
Клянущего попутно,
Зачем его клянущего?

Ты спросишь, для кого,
Подробности и чувства
Под мерный стих шагов,
Когда немного грустно?

Ну, что тебе сказать,
Наверно, не случайно
Приходится искать
Свои дороги к тайнам.

От первого костра,
До первого распятья,
Быть может, неспроста
Не все дано понять нам.

2

Из первых уст я слышал этот миф.
Потом его другие повторяли,
И первый смысл в какой-то миг,
Не ведая греха, спокойно оболгали.

Миф жил еще, но стал совсем другим,
Менялись имена, тускнели даты,
И обретя безликое «когда-то»,
Миф умер и остался я один.

Потом прошли века и каждый раз,
Я, умирая и рождаясь снова,
Все слышал дикий шелест фраз,
Но никогда не понимал ни слова.

И может быть, наверно, потому...
Вся жизнь моя разгадыванье мифа,
Надежда, что когда-нибудь пойму
Язык когда-то мне знакомый, скифов.

3

У птиц своя беда. Я не берусь проникнуть
В суть птичьих дел, но хочется порой
Из поднебесья восхищенно крикнуть,
И пролететь над вашей головой.

Но не дал бог мне крыльев и хвоста,
И опереньем я неважно вышел.
Могу лететь, пожалуй, лишь с моста
Или какой-нибудь случайной крыши.

И пролетев, упасть на мостовой,
Закрыв глаза в блаженстве от полета,
Но не поймут, качая головой
Лишь скажут: «Молодой, а вот свихнулся, что-то».

4

Ворожея, что ты нагадала?
Не лгала ли, звездами, клянясь?
Над узорной шалью колдовала,
Карты раскрывала торопясь:

— Милый, милый, вот твоя дорога,
погляди на карты, вот сюда —
жить ты будешь долго и узнаешь много,
да не встретишь счастья никогда.

Ворожея, что ты нагадала,
Жизнь моя висит на волоске,
Карты лгут, начни-ка ты сначала,
Погадай мне лучше по руке.

—Милый, милый, вот твоя дорога,
погляди на руку, вот черта —
жить ты будешь долго и узнаешь много,
да не встретишь счастья никогда.

Ворожея, что ты нагадала,
Тайной слов своих подорожи,
Ты начни, пожалуйста, сначала,
Но отринь гаданий миражи.

— Милый, милый, вот твоя дорога,
а над ней горит твоя звезда...
жить ты будешь долго и узнаешь много,
но не встретишь счастья никогда.

5

Как странен мир. В душе осиротелой
Лишь пустота. И тихим голосам
Не оправдать, не увести в пределы
Знакомый прежде ритмов. По часам

Уж полночь скоро. Где твои шаги?
За дверью тихо завывает ветер.
О чем он молит? Выйди, помоги...
Кому, зачем? луна еще не светит.

Галлюцинирую, схожу с ума, навзрыд
Тревога бьет в колокола предчувствий.
Как странен мир, и как спокойно спит
Предсказанная исповедь созвучий.

6

С вами, мне кажется, с вами,
Боже, дай силу словам.
Скрыто, как поле снегами,
Слово понятное вам.

Боже, не надо разлуки,
Небо молитву прими,
Я опускаю руки,
Чтобы остаться костью

На пустынной дороге,
Где все время дожди,

У тебя на пороге,
Милая, только прости...

7

Призраки ночи, лунные дети.
Голос их тонок, взгляд их прозрачен,
Смотрят, как звезды плетут свои сети,
И потихоньку о чем-нибудь плачут.

Тучи метались небом полночным,
Ангелы спали, укрывшись крылами,
Ветер терзался сплошным многоточьем,
И непонятно кого они ждали.

Где-то едва уловимо рыдала
Фея, которую бросил волшебник.
На безутешных перронах вокзала
Так простодушно возник понедельник.

В шепоте сонных, унылых кварталов
Редкий огонь от блуждающих фар.
А для души, непростительно мало
Сладко томительных звуков фанфар.

8

Мириадами звезд околдована ночь,
И на ветках берез отблеск лунного света.
Тихий ветер едва ли сумеет помочь
Разогнать эти прелые запахи лета.

И в неволе обид заплутавший июль
Ни дождинки на землю, изнывшую зноем.
И безвольно висит за окном белый тюль,
Нагоняя печаль безысходным покоем.

9

Я помню нежность
моих берез,
простите дерзость,
простите злость.

Как ты устало
глядишь туда,
где бродит старость,
а с ней беда.

И возглас страха,
узнав в себе,

семь пядей праха
желаешь мне.

10

Окрасились дали —
багрянец и ложь.
На шумном вокзале
себя не найдешь.

Отбил телеграмму:
прощай не грусти.
Немного подумав,
добавил: прости.

И снова к уюту,
привычным делам,
до новой минуты
своих телеграмм.

11

Молю тебя, Господи, вечный!
Охраняй мою женщину
От соблазнов мирских,
От слов торопливых,
От наветов людских,
От глаз похотливых,
От болезней и скуки,
От печали и лжи,
От душевной муки,
От жалоб на жизнь,
От предательств любимых,
От завистливых слов,
Пусть проходит все мимо,
Но оставь ей Любовь!
Я молю Тебя, Господи!



Лидия Рождественская
(г. Красноярск)

НЕТ МНЕ ОТВЕТА
(Воспоминания о моем отце)



Лидия Рождественская, член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры России. Лауреат всероссийских телевизионных конкурсов и фестивалей в гг. Тюмень, Набережные Челны, Красноярск, победитель международного телевизионного конкурса «О женщине с любовью» Санкт-Петербург, лауреат (1 премия) Всероссийского фестиваля «АГРО-СМИ»-2010, Москва.

10 ноября 2010 года исполнилось сто лет со дня рождения известного сибирского поэта Игнатия Рождественского. Вот что написано о нем в Большой Советской Энциклопедии: «Рождественский Игнатий Дмитриевич (28.10 (10.11.) 1910, Москва,— 3.7.1969, Красноярск), русский советский поэт. Окончил литературный факультет Иркутского педагогического института (1940), учительствовал в северных районах Красноярского края. Печатался с 1927; первый сборник стихов «Северное сияние» (1936). Главная тема произведений Р. — прошлое и настоящее Сибири, стойкость ее людей, суровая и прекрасная природа»...

За свою творческую жизнь Игнатий Рождественский издал более тридцати поэтических книг, изданных в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Москве. Воспоминаниями о нем делится дочь поэта журналистка Лидия Рождественская.



Неужели этот мальчик мой папа? Этот кудрявый мальчик, родившийся в Москве в дворянской семье? Как много сейчас разделяет нас. Не только жизнь, но уже давно и смерть. А тогда, в ноябре 1910 года, когда он родился, ничто еще, кажется, не предвещало бурь, потрясений, войн. Жизнь обещала счастье...

Это было в начале XX века, совсем в другой, неведомой мне жизни. На балконе московского дома стояла девушка. Она недавно вернулась из Парижа, где закончила Сорбонну. Отец девушки был крупным промышленником, на его магазинах красовались вывески: «Молоко и сыры Бландовых». Это фамилия девушки. А звали ее Екатерина...

А дальше все как в любовном романе: мимо проходил статный, с лихими усами юноша, и он, вы уже догадались, влюбился в нее с первого взгляда. Это был Дмитрий Рождественский.

В положенный срок появился на свет мальчик Игнатий — Натуля,— так звали его родные. Наверное, детство папы было похоже на то, что описано в книге моей прабабушки Марии Евграфовны Бландовой, чудом сохранившейся в нашей семье:

«На Рождество и на лето приезжали братья в отпуск. Они уже стали взрослыми

молодыми людьми. У нас устраивались домашние спектакли, живые картины. Много было шуму, веселой суеты, я участвовала в живых картинках в виде ангела. Помещики издалека съезжались со своими семьями на наши спектакли...

У нас дома часто служились всенощные, молебны. Бывало, летом окна открыты, красивые окрестности кажутся еще краше под мягким, вечерним освещением; столбы света, наполненные кадильным дымом, идут от открытых окон, по стенам и полу пробегают тени растущих перед окнами лип. На столике, покрытом белой скатертью, стоит образ Спасителя в серебряной ризе: кроткий лик, обрамленный волнистыми, падающими на плечи волосами, на книге, которую Он держит в руках, начертаны слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»...

Я думаю, что там, в детстве, были истоки папиной любви к поэзии, литературе, искусству. Могло ли быть иначе? И мне никогда не понять, зачем надо было разрушать этот мир, да еще до основания...

Папины рассказы о детстве были овеяны романтическим образом старой Москвы. Он показывал нам дом, в котором родился, другие дома своих предков. Я знаю, что в одном из них сейчас чей-то ресторан «Федор».

К сожалению, мы мало расспрашивали папу о его детстве. Казалось, впереди так много времени для узнавания, так бесконечно много — целая жизнь. Извечное наше заблуждение. Не потому ли мы так плохо знаем свои родословные.

Только сейчас, благодаря интернету, книгам о российском предпринимательстве и журналу «Караван историй», я открываю для себя новые подробности биографии своего прадедушки Николая Ивановича Бландова. Он, блестящий морской офицер, дворянин, уходит в отставку в чине лейтенанта флота и, как бы сейчас сказали, включается в промышленное преобразование России. Вместе с братом Владимиром, также отставным лейтенантом флота, они создают товарищество «Братья В. и Н. Бландовы» и вскоре становятся крупнейшими производителями молочной продукции в России. В одной только Москве у них было 59 магазинов. Иракий Андроников, рассказывая о старой Москве, говорил: «А на Тверской стояли магазины «Молоко и сыры Бландовых».

В 1903 году Николай Бландов строит первый в России молочный завод, он располагался на Новослободской улице. Были еще колбасная и макаронная фабрики, выпускавшие знаменитую «Московскую» колбасу и макароны «Знатные» — эта торговая марка сохранилась до сих пор. Их молочная «империя» раскинулась по всей европейской России, достигла Сибири и Кавказа. Кстати, всем известный кефир появился в России тоже благодаря Бландовым...

Сам вождь мирового пролетариата писал о Н. Бландове в своей работе «Развитие капитализма в России», а современные исследователи назвали его «олигархом серебряного века»... А еще он был президентом Московского общества сельского хозяйства, председателем Московской ячно-масляной биржи, почетным мировым судьей и гласным Подольского уезда Московской губернии. Около 10 лет он был депутатом от дворянства Московского уезда. Кроме того, он являлся активным членом многих просветительских и благотворительных учреждений Москвы, проявлял постоянную заботу о сибирской школе маслоделия, где Бландовы очень много сделали для подъема новой волны предпринимательства в дореволюционной России...

Моя прабабушка Мария Евграфовна Бландова была писательницей, одной из первых выступившей за эмансипацию женщин в России. Совсем недавно я нашла ее публицистические статьи в интернете и удивилась, что они несколько не устарели. Будто бы ничего не изменилось за эти сто лет. Вот в такой семье рос мой отец.

И такая разумная, с трудами и молитвами, жизнь рухнула в одночасье.

Кто-то из дальновидных Бландовых сразу после революции уехал за границу, кто в Лондон, кто в Париж, а мои бабушка с дедушкой и детьми поехали на восток, я не знаю куда, может быть, в Китай, может, в Америку. Но Богу было угодно, чтобы они сошли

с поезда в холодном Красноярске: в дороге воспалением легких заболела Екатерина Николаевна. А через несколько дней ее нашли примерзшей к стене госпиталя...

Ее, такую красивую, умную, благородную. Мою бабушку. Как мне не хватало ее в жизни.

Когда я думаю о папе, у меня до боли сжимается сердце — так мне жалко его, жалко до слез, до бессонницы. Папе бы жить в другое время, когда были востребованы благородство, широта души, безрассудная щедрость... Умом понимаю, что «времена не выбирают, в них живут и умирают», но ничего не могу с собой поделать.

Каким он мне запомнился? Он был необыкновенный человек, ни на кого не похожий. Это подтвердят все, кто знал папу. Абсолютно бесхитростный. Кстати, недавно сделала открытие, что хитрость — это замена ума. Оглядываюсь вокруг — хитрых много, умных — отнюдь.

Папа обезоруживал всех своей искренностью, тем, что абсолютно все и всем говорил в глаза. Естественно, наживал врагов. Теперь я понимаю, что этого бояться не надо. Замечательно сказал Юрий Визбор: «Слава Богу, есть у нас враги, значит, есть, конечно, и друзья». До конца дней отец оставался таким.

Вспоминаю случай. Гостил у нас поэт Лев Ошанин. Он был на редкость обаятельный, словоохотливый, доброжелательный. Мы с сестрой были по-детски в него влюблены. В ту пору он был в самом зените славы. Все пели его песни: «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе», «Бирюсинка», «Течет Волга» и многие другие. Он был очень привязан к папе, посвятил ему несколько стихов. Написал и про нас: «Где там Ленка и Лидка мои, у какой стоят калитки они...» Однажды Лев Иванович возьми и спроси отца:

— Игнат, а ты меня любишь?

— Не-а.

Помню свой ужас в ту минуту, кажется, я даже заплакала. Мы с сестрой и мамой все делали, чтобы загладить этот папин мальчишеский выпад.

Я помню его с вечным бормотанием стихов, именно бормотанием — так они его переполняли, что он не мог удержать их в себе, как бы пробуя на язык бесконечные строчки. А стихов он знал великое множество — память у отца была феноменальная.

В детстве, когда надо было мыть пол или идти в магазин, а так не хотелось, папа предлагал своеобразный «бартер»:

— Стихотворение расскажете — будет по-вашему.

Ну, а нам с сестрой только этого и надо. Ведь многое из того, что мы знаем и помним сейчас, выучили на слух от отца. И не какие-нибудь детские стихи, а прекрасные, завораживающие строчки Блока, Белого, Городецкого, Гумилева:

*Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай, далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...*

Или вот это:

*Там, где все сверканье, все движенье,
Пенье все,— мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Поглотил гниющий водоем...*

Я часто думаю о папиной любви к нам, детям. А нас было у родителей пятеро: Юлия, Владимир, Владислав, Лидия и Елена. Его воспитание было незаметным, как будто и вовсе он нас не воспитывал. О его любви к нам мы чаще всего узнавали из папиных стихов:

*Вся в чернилах от губ до ладоней.
Трудно с ней. Но доволен я,
Что не неженкой, не тихоней
Непоседа растет моя...*

Или:

*Не прожить без разлук на свете,
Не минуешь их никогда:
Как птенцы, улетают дети
Из родительского гнезда.*

.....
*И украдкой,— нет, не украдкой,
Что таить мне печаль свою,—
Над твоей я вздохну тетрадкой,
Над игрушками постою.*

Авторитет отца очень много значил для нас, детей. И сама атмосфера в доме располагала к тому, чтобы перенимать отцовское мировоззрение, его понимание литературы, искусства, его врожденный, впитанный с молоком матери, вкус.

Однажды в восьмом классе нам задали сочинение по «Слову о полку Игореве». Я заканючила:

— Папа, помоги написать.

— Думай сама.

Но я-то знаю своего папочку, его напускную строгость. И сижу наготове с ручкой и тетрадкой, выжидаю. Вот он проходит мимо комнаты, ни на секунду не при тормозив:

— Неувядающее и бессмертное, как цветок иммортель, оно пришло к нам из пепельной мглы минувших веков...

Я только успеваю строчить, знаю, второй раз повторять не будет.

— Все, дальше сама.

Ну, уж нет, не верю, что твое вдохновение так быстро иссякло, теперь-то тебя не остановить.

— С его страниц то мужественно-суровых, то овеванных грустной лиричностью, слышится нестройный гул половецких орд... — это папа снова проходит мимо комнаты.

Помню, за то сочинение получила пять с плюсом. А главное поняла, как надо их писать.

Но однажды папа все же взялся меня повоспитывать. Он решил, что я недостаточно готова к жизненным трудностям, что подружки отвлекают меня от чего-то главного и отправил заканчивать школу... в Норильск. Не знаю, закалил ли меня этот год «ссылки» под присмотром старшей сестры, но слез я выплакала немало. Как же, впервые без мамы и папы! По-моему, отец сам потом жалел об этом воспитательном эксперименте, но, тем не менее, продолжал писать мне подбадривающие письма: «...Я прекрасно понимаю, что Норильск — это не Гагра, но ведь и жизнь — это не танцплощадка. Надо испытать все, закалить себя, пересмотреть свои взгляды, духовно окрепнуть, обдумать судьбу свою, вышвырнуть все ненужное, вздорное, никчемное и настроиться на волну добра и справедливости. Так-то вот, Лида. Крепись. Время идет к весне. Редет тьма полярной ночи. Пусть осенят тебя сполохи и встающее солнце согреет»...

Можно долго вспоминать. И как папа просто страдал, когда какой-нибудь грамотей коверкал русский язык. Он был безусловно грамотным и требовал того же от

других. Если слышал неправильно произнесенное слово, пощады не было никому. Ох, и горячий был...

Еще была в нашем доме традиция: все собирались за одним столом, и папа читал нам вслух. Прочитал все лучшие книги: Бунина, Тургенева, Гончарова, Куприна...

Я знаю, что и учителем отец был неординарным — творческим, независимым, ярким. Один только пример. В ту пору, в тридцатые годы, в школах не было никаких сочинений на свободную тему, только «лучи света в темном царстве». И вот после летних каникул, а дело было в Игарке, приходят дети в школу и папа задает им тему сочинения: «Как я провел лето».

На другой день появляется в классе со стопкой проверенных работ и начинает кидать на стол одну тетрадку за другой:

— Никуда не годится... Плохо... Бездарно... Русским не владеете... Ни одной своей мысли и т. д.

Я думаю, и покрепче что-нибудь было, папа не подбирал выражений, когда сталкивался со скудоумием, убогим языком...

И вот в руках остается одна тетрадка. Я просто вижу счастливое, взволнованное папино лицо — он всегда, как ребенок, радовался чужим успехам:

— Один среди вас талантливый — Витька Астафьев.

«С тех пор я поверил в себя», — писал впоследствии большой русский писатель В. П. Астафьев.

Можно ведь провести урок строго по методике, чинно и гладко, сделать в конце правильный вывод. А можно отбросить все методички и увидеть за ними личности своих учеников, их способности и знания, разглядеть в них искорку таланта. Папа это умел.

В своей статье об Астафьеве Александр Солженицын написал про папу: «промелькнувший светлый учитель». Пусть будет так. Хотя «промелькнувший» — слабоватое слово для роли отца в судьбе Астафьева.

Я думаю, это большое счастье встретить такого учителя. И первый свой автограф на первой книжке Астафьев написал своему учителю. А это школьное сочинение мы знаем как рассказ для детей «Васюткино озеро».

Папа очень любил Север. Много стихов написал он о его скромной, не всем заметной красоте. Он менял школы, продвигаясь все дальше на Север: Пировское, Туруханск, Игарка... Интересно, что каждое новое место, отмечено рождением детей: Пировское — Юлия, Туруханск — Владимир, Игарка — Владислав и уже напоследок, в Красноярске, — я и Елена.

Но я уверена, не только романтика гнала папу все дальше на Север. Среди вещей отца всегда был саквояж, готовый к иному «путешествию». Отпрыску отнюдь не пролетарской фамилии такая перспектива казалась вполне возможной.

Если читать все стихи, книжку за книжкой, не только стихи о любви и природе найдешь в них. Отдал отец дань и «будням великих строек». И написано это было искренне, я знаю. По-другому папа не умел. Что же это было за время, которое могло увлечь утопической идеей образованного человека. Ведь, я знаю это тоже, с детских лет жило в нем сознание несправедливости. Я помню папины слезы, когда он нам рассказывал, никак не мог забыть, о своем дяде — царском офицере, Георгиевском кавалере Первой мировой. Он поверил обещаниям большевиков, что все, кто сдаст оружие и перейдет на сторону советской власти, будут прощены... и был расстрелян.

В конце сороковых отец написал стихотворение о доярке, за которое был подвергнут разному в духе времени, с позиций ждановского понимания литературы. А виновен он был в том, что без прикрас описал руки советской доярки, ее каторжный труд:

*У скотниц руки к вечеру ломило,
Не гнулись пальцы, боль сводила их...*

Сейчас над этим можно смеяться. Но тогда, действительно, было такое время: одних оно возносило, других ломало, третьих учило приспособливаться. Есть у него и такие строчки:

*И под откос просились паровозы,
Чтоб не возить невинных в лагеря...*

Но свои лучшие стихи, мне кажется, папа написал о любви. И все они посвящены маме. Родители мои были очень разные: отец — шумный, открытый, доверчивый; мама же — сдержанная, негромкая, земная.

*Ни на перроне шумного вокзала,
Ни у реки бурливой по весне,
Слов, от которых сердце замирало,
Ты никогда не говорила мне.*

Теперь-то я понимаю, как папе не хватало этих жарких признаний в любви. Они нужны всем, а поэту особенно.

Сейчас, на фоне многочисленных трагедий, постигших нашу страну, судьба одного человека, пусть даже твоего отца, может показаться не столь впечатляющей. Тем более, что сам он не давал повода считать свою жизнь трагической. В чем-то он даже преуспел. Во всяком случае, внешне это выглядело именно так: первый член Союза писателей в Красноярске; признанный поэт, классик сибирской поэзии — уже можно так сказать; единственный за всю историю беспартийный корреспондент самой партийной газеты «Правда»; замечательный, от Бога, учитель; еще при жизни удостоен очерка в Большой Советской Энциклопедии... А душой все тот же мальчик с единственной защитой — Поэзией.

Да, до конца своих дней он верил только в Россию и только в поэзию. Это был большой ребенок, романтик, и... мой отец... Что могла я, девчонка, понять в папиных терзаниях, а они были. Я видела, как он страдал, говоря о горестной судьбе России, как не мог сдержать слез...

Необыкновенно трудно ставить точку. И не только потому, что не сказано что-то главное. Самого главного я, наверное, и не знаю. Трудно ставить точку всегда. Потому что воспоминания не могут иметь конца. Они живут вместе с нами и умирают тоже вместе с нами...

И я повторяю вслед за Виктором Астафьевым, любимым папиным учеником: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Нет мне ответа».

